

ПИСЬМА К МЯСНИКОВУ

Повесть

Мы познакомились в Абрашино, деревне, притулившейся на берегу Оби, где она уже не совсем река, но еще и не море, оставшееся чуть ниже по течению. Здесь она покуда не успевает вобрать в свои воды ила, мутной глиняной взвеси и течет в песчаном ложе прозрачная, чистая. Сосновый бор обнимает село, краями подходя к самому берегу. Глушь! Красота!

Владимир Берязев, новосибирский писатель, построил там дом и пригласил к себе в гости. Дорога до Сузуна отличная, а дальше — сотня с лишним километров по тряской щебеночной насыпи. Абрашино мы проскочили, отметив на ходу один из домиков с оригинально раскрашенными ставенками и наличниками.

— Это, наверное, дом художника, — сказала жена, зная, что где-то тут живет и художник.

Остановились на дальнем конце села и увидели, что далеко позади нас кто-то вышел на дорогу и смотрит нам вслед. Скорее всего, нас и высматривают. Это был наш друг Берязев, он, оказывается, поджидал наш экипаж во дворе того самого раскрашенного домика.

— Данила Меньшиков, — представился хозяин и представил свою жену.

Это имя было мне известно, как и его картины. Хороший художник, его женские портреты, где некоторые черты подчеркнута преувеличены, но не искажены, где краски и линии, на первый взгляд, вступая в противоречие, в конце концов сходятся в безусловной гармонии и остаются перед глазами надолго.

Был во дворе еще один человек — некто в темном свитере с оттянутыми рукавами, в очках с толстыми стеклами, из-за которых на нас глядели насмешливо-недобрые глаза.

— Читал ваши тексты, — бросил он вместо приветствия. — В журнале. Читал, да.

Некто оказался Николаем Мясниковым, художником и писателем в одном лице. Мы с женой переглянулись, подумав, очевидно, об одном и том же: вот вам компания — писатель, художник и писатель-художник. Впоследствии выяснилось, что Мясников по основной профессии график, в писатели попал не так давно и по чистой случайности. Ничего удивительного, на мой взгляд, большинство именно так туда и попадает.

Нас и вправду ждали, нам обрадовались, нас кормили ухой из только что пойманной рыбы, судаком и окунями горячего копчения, приготовленными прямо тут, в копильне, разожженной во дворе художника. Мы пили вино из больших бутылей, пели песни, смешили друг друга. Нам было хорошо.

— Нет, вы должны непременно сегодня посетить мое жилище! — настаивал Мясников, когда мы в очередной раз поднимались из-за стола, чтобы отправиться на ночлег.

— Завтра, ладно? Никуда же оно не денется, твое жилище.

— Нет, сегодня!

— Вы, наверно, задумали тут творческую колонию организовать? — спросил я, выходя за ограду. — Этакое Переделкино местного значения.

— Не получится, — в один голос ответили Берязев с Меньшиковым. — Вон, видишь, — они показали на распахнутые ворота, за которыми в глубине двора стоял джип. Двери открыты настежь, динамики надрываются изо всей мочи — даже на другой стороне улицы земля под ногами подрагивает. — Третью ночь не спят, жизни радуются. Племянник прокурора, за забором больше двух гектаров земли. И таких тут с каждым сезоном прибывает. Самим бы скоро не сбежать отсюда.

— Это вы так считаете, — вступил в разговор Мясников, — вы, летние птицы, такие же, как и они. Зимой тут даже мысль о том, что где-то есть города Москва и Новосибирск, кажется невероятной. Все вокруг замечено снегом, дороги никуда не ведут. Собаки ходят к магазину на людей посмотреть...

Очевидно, сейчас он говорил для нас, новеньких, старожилы все это давно слышали. Посмотрел на открытые ворота напротив.

— Сейчас все можно — возьми винтовку и застрели дядю Сашу. Только глушитель надень. Но зачем же его музыкой убивать?

И он пошел по улице, пошатываясь и размахивая руками.

— Кто это, дядя Саша?

— Да вон, сосед прокурорский...

Назавтра я проснулся раньше всех. Мясников уже поджидал на крыльце Берязевского дома.

— Пошли!

И он отправился со двора, не дожидаясь согласия или отказа.

Дом его — обычная крестьянская изба, пятистенник, рубленая не менее полувека назад. Она, возможно, простоит еще столько же, а может, и завтра завалится — так непонятно с виду ее состояние. Небрежно как-то все, неопрятно: тут прореха, там дыра, крыльцо съехало набок, козырек над ним прохудился, окна посунулись к земле... Огород большой, повсюду пузатятся ярко-оранжевые тыквы, кучи несобранной ботвы, вторым забором стоит вдоль покосившейся и местами поваленной изгороди крапива в полтора человеческих роста...

Как бы там ни было, он здесь, в отличие от своих друзей, живет не дачником, это его самый настоящий дом. Внутри все завалено мешками, кулями, ведрами, связками лука, горького перца, решетками с фасолью, горохом. Все понятно, заканчивается уборка урожая, идет заготовка, засыпка, закладка...

Он подарил мне две своих книжки и сказал:

— Кошмарное время — когда всех своих читателей знаешь в лицо.

Потом мы сидели на крыльце и пили самогонку, закусывая блюдом под названием «хреновина». Он долго внушал мне, что открыл новое слово, нет, не слово — целый понятийный мир — таковость.

— Здесь мыши особенные, — перевел он разговор на хозяйственные темы. — Сначала они залезли в банку с олифой. Много их там было, думал, все утонули. Не-ет! Пришли новые, сожрали яду на тридцать пять рублей, пиво стоит меньше. И хоть бы что!

— Может, дать им самогонки? — предложил я, чувствуя, что сам поднять следующую рюмку уже не в силах.

— Ты что! Понравится — своих понаведут!

Потом мы несли всякую пьяную чушь. Мясников убеждал меня:

— Самые лучшие дураки — умные. Они становятся дураками со всей силой своего ума.

— А я хочу большой огород — вот как у тебя.

— Большой огород это обязательно, — поддержал мою мысль Мясников, — чтобы поменьше общаться с соседями. Иногда так хочется пострелять в них! Вот тот, справа, говорит мне: купил бы корову, жил бы как человек. Во дурак, да? И работай на нее с утра до вечера! Я от молодой красивой жены избавился, уехал сюда, в деревню, — и счастлив. А тут — корова!

Потом я ушел. А потом уехал. И больше мы не виделись...

Дома я открыл его книжку. В правом верхнем углу первой страницы он нарисовал себя. Изобразил, так сказать, графически. А ниже написал:

«Надо быть достаточно наивным человеком, чтобы рисовать картинки.

И надо быть еще наивнее, чтобы придавать этому занятию сколько-нибудь серьезное значение.

Меня всегда называли художником, но лет десять или пятнадцать назад я вдруг заметил, что жизнь моя разделилась на два потока.

Один — составила графика, другой — литература.

Опыт созерцания превращался в линию, опыт социального существования — в слово.

Жить в этих двух потоках оказалось неудобно, как неудобно жить на два дома. Только и делаешь, что перебегаешь из дома в дом, чтобы слегка навести там порядок.

Пытаясь облегчить себе жизнь, я приспособил фразу к своему короткому дыханию, дыханию много курящего человека, а линию — к естественному движению руки.

И в тот момент мне даже показалось, что у меня что-то начинает получаться.

Надо отдать должное деликатности моих коллег: с этого времени писатели признали меня художником, а художники признали писателем.

Таким образом я лишился сразу двух, пусть несколько легкомысленных, но все же профессий...»

Потом я прочел несколько рассказов. Нервно, неровно, замечательно! Записки сердцем, нервами, не знаю, чем еще. Обрывочные воспоминания, странные впечатления. Новые знакомые — все разные и все никому не нужные. Заросшие огороды, скудные столы, если не считать рыбной вечеринки по приезду. Самой деревни почти не видно, какая-то обочина жизни, и тут же — дорогие джипы и прочий карнавал. Слова. Из слов — призрачная ткань бытия, эфирное состояние, сюжет. Но что такое сюжет, если не часть жизни? И все-таки нужно как можно больше новых знакомых и как можно меньше старых. Все слишком быстро покрывается плесенью, становится прахом.

Большой дом — это просто загородный дом Владимира Берязева, в котором можно отдалиться от мира. Но... рыба не клюет — и все теряет смысл.

— Меня с утра тянет к дзенам.

— Вот с утра с этим поосторожнее.

Грузин, бывший руководитель крупного строительного управления, занял территорию в несколько гектаров. Завел десяток коров, полсотни свиней, несчетное количество кур, уток, индюков. Работягам, нанятым

из местных, выставял двадцатилитровую бутылку самогона. Любил сам делать сулгуни — заквашивал, варил, вытягивал в резину. Колдовал над сыром — и превращался в старую грузинку. Умер — скотина разбрелась, птица разбежалась, свиньи визжат от голода, коровы ревут. Батраки ушли. Потом один вернулся и поставил условие молодой вдове: порядок наведу, а жить будешь со мной. Куда тут денешься...

Мраморное озеро на подъезде к Абрашино. Скорее — бирюзовое в мраморных берегах. Окуньки, будто пером расцветенные — черточка к черточке... Тайна леса, тайна озера, тайна слова. Нет жизни, есть сюжеты. Люди не могут не мучить друг друга...

Как уже было сказано, мы больше не виделись. И писем друг другу не писали. Друг другу. Но я ему писал. Не отправляя и, разумеется, не ожидая ответа. Писал беспорядочно и обрывочно, не отдавая себе отчет, зачем я это делаю. Просто так. Так просто.

И еще одно. Напоследок. Тогда, в Абрашино, рано поутру, будучи еще трезвым, Мясников сказал:

— Когда-нибудь я умру. Но перед тем на несколько замечательных секунд я приду в сознание. И мне откроется весь этот удивительный мир. Я увижу все в мельчайших деталях и подробностях, все — что со мной было. И всех — кто был со мной.

Неужели же, Коля, чтобы поймать этот миг, обязательно надо умереть?..

Письмо первое

Осень. Обычно в наших краях скоротечная, нынче — какая-то застоявшаяся. И невероятно жестокая. Морозы по утрам добивают остатки зелени, делают землю какой-то злобно ошетилившейся. Знаю, она потом, под первым снегом, подберется, притихнет. Но пока сердитая. И все-таки рано еще быть холодам.

Одиноким человек в одиноком доме. На столе — самогонка, почищенная рыба в тазу. Натюрморт под названием «Октябрьская муха». Философское отношение к происходящему или просто наплевать? Березев как-то говорил о пропорциях, о соотношении труда, безделья, поэтического творчества и простого прозябания в мире... Ну, непропорционален художник, что тут поделаешь! Выравнивающий фактор — пьянство — тоже не помощник в распределении пропорций. Много, мало, в самый раз... Ты, Мясников, конечно же, художник, правда, иногда прорывается в тебе: ну, признайте же меня художником! Иной раз так хочется распоясаться, отпустить все тормоза, но держит страх, что ничего нового не произойдет. Может, чуть откровеннее, похабнее, восторженнее, но это «чуть» — такая малость! И жуть поэзии вознесется во мне! Ибо страшно это — понять, как прекрасен был мир до тебя, и ты не успел к этой красе. Еще страшней — узнать, что останется после тебя недопонятое, недолюбленное тобой. Одно спасение — уверовать, что праздники случаются ежедневно, и жизнь это не просто чередование понедельников и суббот, это ядение даров Божьих...

Читаю Башунова. Без мороза по шкуре не читается. Или он завершил назначенное ему на земле? Иначе зачем Бог так рано призвал его? Наверно, он, Создатель, отпускает, помимо всего прочего, и меру сердца. Тональность сердца. Норму расхода на печали, восторги, любовь...

Письмо второе

Мясников, я придумал начало для статьи о тебе и, может быть, даже название: «О хреновине и построении мира». Начну так: «Художник Мясников подарил мне банку с хреновиной. В Сибири каждый знает, что это такое — жгучая закуска из помидоров и хрена. Мозги прочищает...». Ну, и так далее. Что-нибудь про то, как художник Мясников, сидя в своем Абрашино, придумывает новые сюжеты, уверенный, что правды жизни нет, есть только эти самые сюжеты. Кстати, очень просто доказать обратное. Художник Мясников попросту дурит народ. Может, это и есть искусство.

А мне любимая женщина сегодня сказала: мне с тобой плохо. Стало быть, без меня будет лучше. Что тут поделаешь? Теперь надо жить, исходя из новых реалий.

Накануне друг прислал из Питера тягостное письмо, хоть в петлю лезь. Вот и собеседник под статью, вот и поплакаться можно на пару. Не хо-чу! Не хочу! Умрите в слезах, а я, если и заплачу — от желания жить. Есть много, слишком много, вопреки чему хочется жить. Это ли не двигатель, не толкатель — вопреки? Вопреки нерадивым и не умеющим любить детям, вопреки неряшливым и неверным женам, вопреки начальникам-дуракам, всеобщей ситуации в стране и засилью китайцев в мире. Кстати, Мясников, почему бы тебе не обзавестись женой-китайкой? И пусть бы она плохо знала русский язык. А лучше — вообще бы не знала.

А я тем временем стал бы художником Мясниковым и жил бы без жены-китайки, зато подсчитывал бы количество тыкв на огороде, лука, картошки, какой-нибудь фасоли. Я занимался бы одушевлением леса, озера, пылящей мимо дома дороги и не одушевлением — брата-сутяги, надоедливых соседей и кур с собаками. Они ведь и вправду почти что неодушевлены, эти создания, живущие по соседству.

Письмо третье